

БОРИС ВАСИЛЬЕВ



ВЕК  
НЕОБЫЧАЙНЫЙ

Борис Васильев

**Век необычайный**

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

## **Васильев Б.**

Век необычайный / Б. Васильев — «Мультимедийное  
издательство Стрельбицкого»,

Николай Глазков написал такие строки: «Я на мир взираю из-под столика. Век двадцатый, век необычайный. Чем он интересней для историка, Тем для современника печальней». Свою мемурную книгу Борис Васильев так и назвал – «Век необычайный». Воспоминания писателя отличаются от традиционных произведений этого жанра – в них нет строгой последовательности, эпического спокойствия или монументальных сцен. Но есть социально-философские размышления и экскурсы в далекое прошлое.

© Васильев Б.  
© Мультимедийное издательство  
Стрельбицкого

# Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ	5
ПРОЛОГ	6
КОЛЫБЕЛЬ	7
Часть первая	10
Глава первая	11
Глава вторая	18
Конец ознакомительного фрагмента.	21

# Борис Васильев

## Век необычайный

*Я на мир взираю из-под столика.  
Век двадцатый, век необычайный.  
Чем он интересней для историка,  
Тем для современника печальней.*  
**Николай Глазков**

### ВСТУПЛЕНИЕ

Увы, XX век оказался для России веком чрезвычайным. Не только по сумме исторических потрясений, но и по небывало частому употреблению этого слова в самых неожиданных вариантах. Чрезвычайными, то есть наделенными внесудебными правами наказания вплоть до расстрела, были Комиссии по борьбе с контрреволюцией, созданные тотчас же, как только большевики захватили власть, и продотряды с правами насильственного отъема продуктов у крестьян и бессудных расстрелов «за саботаж». Чрезвычайные Съезды, Чрезвычайные постановления, Чрезвычайные решения, Чрезвычайные Указы. Если все «Чрезвычайное» собрать вместе, то возникает отчетливое впечатление состояния гражданской войны во все времена вплоть до хрущевской оттепели.

Мое поколение – первое, родившееся после *официального* окончания Гражданской войны – оказалось поколением, выросшим в состоянии тайной гражданской войны. Конечно, мы не ощущали всего ужаса перманентного террора, но наши родители, родственники, старшие братья и сестры испытали его в полной мере. Нам в наследство досталось полностью разрушенное правовое пространство, а нашим внукам – разрушенное идейное, что и породило антисемитизм, мерзкое наименование «лицо кавказской национальности» и бессмысленную войну в Чечне, регулярно поставляющую не имеющих национальности террористов.

Все это – результат взрослой жизни. Детство не знает ни террора, ни ксенофобии, ни урапатриотизма. Почему я и хочу вернуться в это самое чистое время человеческой жизни.

## ПРОЛОГ

Сколько себя помню, меня загоняли в постель ровнехонько в половине десятого. А книжки отбирали, и если я проносил что-либо нелегально, то в самый увлекательный момент пододеяльного чтения бесшумно отпахивалась занавеска – я спал на кухне, на деревянном топчане, покрытом тоненьким матрасиком, набитым соломой, – кто-то возникал в проеме, и книжка изымалась. А спать мне не хотелось то ли по причине упрямства и самоутверждения, то ли из-за того, что я был взбаламучен уже прочитанным. Как бы там ни было, я не слишком расстраивался. Во-первых, потому, что подобное происходило ежедневно, а во-вторых – и это главное – у меня в запасе было еще одно увлекательнейшее занятие: я придумывал себе сны.

Ах, какие это были сны, если, конечно, мне везло и они в самом деле проходили передо мною, как на экране! Признаться, я этим занимаюсь и сейчас, хотя возраст – как бы это поизящнее выразиться – внес существенные коррективы в мои сценарии снов. В детстве я мечтал обрести способность оказаться в любимых книгах и не только зримо увидеть их героев, но и запросто пообщаться с ними. С Питером Марицем, юным буром из Трансвааля, с неутомимым бретером д'Артаньяном, со знаменитым пиратом капитаном Флинтom или князем Серебряным. В детстве я свято верил, что в книгах излагаются исторические события, что их герои – в самом деле существовавшие и, что самое любопытное, продолжающие существовать люди, с которыми можно запросто встретиться где-то там, вне реальности, но вполне реально. Потом это прошло (может быть, к сожалению?), я сам стал сочинять нечто близкое к действительности и записывать это «нечто», а ощущение – будто чуточку обокрал самого себя. И стал куда беднее, чем в голодном детстве...

Да, теперь я мечтаю об ином, но столь же нереальном, потому что мечтать реально – неинтересно, поверьте. Мечтать, подобно Корейке, о том, что я найду толстый бумажник, набитый сотенными? Глупо. Мечты – бесценны сами по себе хотя бы потому, что способность мечтать – осколок утерянного детства. Крохотный, как бриллиант, и сверкающий, как бриллиант. А ведь человек живет только в детстве своем. Только. В юности он – суется, в зрелости – озабочен, в старости – раним. Вот почему мечты для меня – просто продолжение жизни. Всегда что-то обещающей и никогда не выполняющей своих обещаний. Может быть, именно в этом и заключается ее прелесть? Как знать, как знать...

Так что – мечтайте. Если упорно о чем-то мечтать, то мечта обретает зыбкие черты нереальной реальности, и вы снова к чему-то стремитесь, снова чего-то ждете, снова чего-то желаете. Но ведь способность чего-то ждать и желать и есть основа нашей жизни.

Например, желание заглянуть за горизонт. У человека всегда два равно недостижимых горизонта: будущее и прошлое. В будущее заглядывать тревожно, а тревога перед сном – гарантия тяжелых, душных сновидений. И я заглядываю за второй, дарованный только человеку горизонт. В прошлое. Оно прочно прикрыто толстым льдом прожитых веков, а потому вечно покойно и безмятежно. Оно – БЫЛО, но ведь было! А «БЫЛО» – всего лишь одна из форм глагола «ЕСТЬ».

Тогда – в прошлое?..

## КОЛЫБЕЛЬ

Она есть у каждого просто потому, что ее не может не быть. Все мы рождаемся в результате определенного стечения обстоятельств, случайности, если угодно, однако в этой случайности, как, впрочем, и во всех случайностях, есть своя закономерность. Генетическая цепочка, в одной из точек которой человек появляется на свет, не зависит ни от желания, ни от воли родителей, и тем не менее она не терпит обрыва. Ее обрыв неминуемо означает гибель рода, его исчезновение, будь ты потомком дворян или купцов, крестьян или мещан – это не имеет ровно никакого значения. Просто дворяне в силу исторических причин, более высокой общей культуры, традиций и общественного положения хранили ее в семейной памяти, а прочие – не хранили, поскольку она не представляла для них никакого общественного смысла и личного интереса. Их статус в обществе не менялся и меняться, как правило, не мог. Крестьянский сын пахал землю и с трудом переживал русские зимы – точно так же, как его отец, дед и прадед. Потомок мещанина тихо и смиренно повторял путь родителей своих в той же нише, некогда отведенной для них городским сообществом, будь то работа по обслуживанию городской общины, служба в стрельцах, ремесленничество или возвращение зелени для горожан. Даже купцы наследовали вначале лавки, а позднее – «дело» своих предков, лишь развивая его, но не дерзая изменять источнику существования собственной семьи. И только дворянство имело возможность искать занятия согласно желаниям и склонностям своим, почему и нуждалось в памяти предков в той мере, в какой они оказывались вовлеченными в активную социальную жизнь.

Родословная каждого человека есть всего-навсего доля участия предков его в жизни народа, нации, государства. А история народа – производное этих долей, их взаимное влияние друг на друга, и математическое воспроизведение ее, по всей вероятности, не такое уж сложное дело.

Существует легенда, что некий весьма пожилой человек случайно оказал услугу могущественному волшебнику. И растроганный волшебник предложил вернуть его в тот возраст, в котором он пожелает пребывать со своим обликом, разумом, характером, будь то детство или юность, зрелость или старость. И после некоторых раздумий счастливец выбрал тот возраст, в котором находился в данный момент.

– Но почему же? – удивился волшебник. – Неужели тебе не хочется вновь стать ребенком с чистой душой и восторгом ежедневных открытий? Или юношей, каждое мгновение ощущающим рост мощи собственных сил, переполненным страстной тоской любви и сладостной жаждой мечтаний? Наконец, я могу превратить тебя в сильного, обретшего любовь, семью и место в жизни человека. Почему ты просишь оставить тебя в летах, когда мечтания растаяли как дым, страсть испарилась, а тело и душа стонут по ночам от груза прожитых лет и совершенных ошибок? Объясни мне, странный человек, свое желание.

– Охотно. Я не хочу еще раз переживать детство, потому что детство человеческое – время необъяснимых и очень болезненных обид. Я не хочу быть юным, потому что юность – исток всех ошибок, которые столь тягостны в сумерках старости. Наконец, я не хочу снова быть зрелым, потому что зрелость вскармливает зависть и дает толчок первым разочарованиям, которые постепенно копятся и отравляют все последующие годы. Покойна только старость, осознавшая себя таковой. Может быть, это и называется мудростью.

Старость не удостоила меня мудрости в силу моего собственного характера, но я лишен тоски по прожитым годам. Я вспоминаю о них потому лишь, что каждый человек должен когда-то посмотреть на изнанку собственного костюма, даже если он не так уж плохо скроен им самим.

В нашей семье никогда не упоминали о прошлом. Его как бы вообще не существовало, а отсчет шел только с Гражданской войны. О том, что было раньше, стали рассказывать мама и, в особенности, тетя Таня уже после смерти отца, в 70-х годах – и то по моим настойчивым просьбам.

Наша семья не была такой уж уникально осторожной: так поступало большинство семей провинциальной интеллигенции. И надо признать, что эта предусмотрительность спасла очень многих, поскольку советские карательные органы никогда не знали истории, да и не интересовались ею. Среди моих знакомых объявилось много дворян уже в наши дни, и я не полагаю в них самозванцев. Каждая семья в Советском Союзе выживала в одиночку, и способы их выживания не повод для запоздалых укоров, а повод для горьких размышлений, не имеющих срока давности. Люди отрекались от корней своих не из соображений карьеры (хотя и таковые, конечно же, были) и уж тем паче не из трусости, а во имя спасения собственных детей.

До чего же хрупка, до чего же беззащитна оказалась нравственность всего нашего народа! Дворяне жгли документы и фотографии, дети раскулаченных крестьян брали иные фамилии, убегая из деревень, евреи при первой же возможности меняли в паспортах национальность своих детей... Нет, не все, разумеется, не все. Я говорю лишь о тенденции, но именно тенденция в конечном счете и определяет народную нравственность. Маргиналам и люмпенам всех сословий России не требовалось ничего менять – так не их ли представления о нравственности торжествуют сегодня в нашем обществе?..

Чаще всего это печальное явление объясняют террором, но террор – средство, а не цель. Целью было уничтожение русской культуры и создание на ее обломках синтетической советской культуры. Нет, это не зомбирование – словечко, столь любимое нашей журналистикой. Это скорее клонирование, то есть искусственное создание великого множества одинаковых людей. Одинаковых во всем – в поступках, в реакциях, в мыслях, в семьях, одежде, еде, жилище, в любви и ненависти, в восприятии окружающего и вере в абсолютную непогрешимость вождей. И во многом, во многом это удалось за восемь десятков лет беспрецедентного растления великого народа. Под культурой, к примеру, уже официально понимается только искусство и обслуживающие его институты – театры, библиотеки, музеи. Помилуйте, это всего лишь часть общечеловеческой и общенациональной культуры, никак не более того. Под культурой Россия когда-то понимала весь спектр системы духовного выживания человека и прежде всего – нравственность. Нравственность личности, мораль общества, понятие о правах человека, его чести и достоинстве, о свободе личности и прочной государственной защите этой личности. В гласном и непременно состязательном суде присяжных при строжайшем соблюдении презумпции невиновности. Культура – право каждого на свободу совести, слова, самовыражения, неприкосновенность его жилища, добровольный выбор места жительства. Это отношение к женщине, детству, старости. Наконец, культура – это историческая память народа, его тысячелетние традиции, искусство, религия, национальная кухня, система семейного воспитания, представление о долге перед обществом. Не перед общиной – подобное представление способно породить только землячество, столь свойственное нам сегодня, – а перед всем исторически сложившимся социумом, который мы привычно именуем народом.

Переадресовав общее понятие культуры искусству, советская власть возложила функции культуры на образование. Поэтому у культуры появилось некое мерило: начальное, среднее и высшее, и диплом превратился в знак культурного уровня его обладателя.

Да, добавление образования к уже воспринятым с детства основным канонам культуры способно повысить ее уровень, но если они не заложены, образование срабатывает в обратную сторону. «Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя» – это, увы, не шутка бестелесного Козьмы Пруткина, а закон для общества с неразвитыми общественными институтами. Это советские специалисты-выдвиженцы погубили Волгу, превратив ее в цепь вялотекущих



загнивающих водохранилищ. Это с их помощью Россия навсегда потеряла всю свою пресноводную сельдь. Это они построили целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале.

Всех преступлений против собственного народа, совершенных советскими специалистами, перечислить невозможно. И говорю я о них для того лишь, чтобы виден был черный фон времени, в котором росло наше поколение.

Мы вырастали в атмосфере команд. Все было подчинено командам, и все команды проводились в жизнь. Мы маршировали, выкрикивая лозунги, к обозначенной вождями цели. Целей было много, и вождей тоже много. Был Верховный Вождь товарищ Сталин, был вождь тяжелой промышленности тов. Орджоникидзе, вождь транспорта тов. Каганович, вождь внешней и внутренней торговли тов. Микоян и т. д. Мы носили их портреты на демонстрациях и восторженно кричали «Ура!».

Послушная масса должна была иметь не только друзей, но и врагов. Другьями были трудящиеся всего мира, а враги строго делились на две части – на врагов внешних и врагов внутренних. Последних время от времени разоблачали, и мы ходили по улицам с лозунгами «Смерть!». Смерть троцкистам, бухаринцам, зиновьевцам – далее по списку – не только до суда, но и задолго до следствия, поскольку газеты натравливали нас на очередных врагов сразу же после их арестов. Мы были детьми Гражданской войны, а она продолжалась вплоть до Великой Отечественной. Уничтожалось крестьянство, купечество, дворянство и разночинная интеллигенция вместе с религиями всех конфессий. И в этой гражданской войне – негромкой, ползучей – мое поколение принимало самое активное участие.

Мы искупили свой невольный грех перед нашим народом. Это на наших телах забуксовали танки Клейста и Гудериана.

# **Часть первая**

## **Оглянись на середине**

**комментарии к прожитой жизни**

## Глава первая

С какого-то времени – старею – жизнь стала представляться мне горбатым мостом, переброшенным с берега родителей на берег внуков. Сначала мы поднимаемся по этому мосту, задыхаясь в суете и не видя будущего. Дойдя до середины, переводим дух, с надеждой вглядываясь в тот, незнакомый берег, где нас никто не ждет, и начинаем спускаться к нему. И есть какая-то черта, какая-то грань на этом спуске, ниже которой ты уже не увидишь своего детства, потому что горбатый мост прожитой жизни перекроет твой обзор. И надо угадать эту точку, этот зенит собственных воспоминаний, потому что оглянуться необходимо: там могут спросить. ТАМ. На том берегу, где мы – только гости. Порою досадные, порою терпимые, чаще всего засидевшиеся и всегда – незваные. Не потому, что дети отличаются невинной жестокостью, а потому, что старость только тогда имеет право на уважение, когда молодость нуждается в ее опыте. В противном случае она получает право лишь на снисхождение, в какой бы упаковке оно ни предлагалось. Как бы там ни было, спрашивают без пощады и скидок, а это означает, что всегда следует быть готовым к рассказу без занудства. А рассказ зануды – это длинное изложение того, что было на самом деле. В нем всегда следствие плетется за причиной, и слушатели уже знают наперед все фразы, которые еще только-только намеревается произнести рассказчик.

Однажды я ездил в шефскую поездку по городам и весям с писателем... скажем, одним писателем. Мы выступали по пять раз на дню в самых разных аудиториях – на заводах и в колхозах, в институтах и школах, в селах и городах – и по пять раз на дню он рассказывал одну и ту же историю. К вечеру мне страстно захотелось треснуть его пыльным мешком из-за угла, чтобы он хотя бы перепутал слова в своем честнейшем, правдивейшем, всамделишном рассказе.

Писатель не имеет права быть скучным, как женщина – неопрятной. Поэтому его собственная биография нужна ему всего лишь как канва для вышивания причудливых цветов, диких зверей и детски наивных орнаментов. Между ложью и сочинительством такая же разница, какая существует между убийством с заранее обдуманной намеренностью и праздничным маскарадом. И да здравствует праздник! Пусть все ходят оглушенными не бомбами, а петардами, с перепачканными физиономиями и чистыми сердцами. И пусть все смеются, утирая слезы от хохота, а не от горя. Момент смеха – момент проявления человека в человекоподобном. Люди добрые, пожалуйста, будьте веселыми!

И давайте перестанем цепляться за голые факты, похожие на саксаул. Давайте собирать букеты цветущей фантазии, бутоны намеков, лепестки смешинки, припудренные легкой росой элегической грусти по временам, навеки оставшимся на том берегу. К черту правдивое человекоподобие – да здравствует сказочная человечность.

При одном неслыханном условии: ПРАВДА ЭПОХИ ДОЛЖНА БЫТЬ СОХРАНЕНА В ДЕВСТВЕННОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ. Только так.

\* \* \*

Когда-то мне часто снился один и тот же сон... Старый, запущенный сад, в голых ветвях которого повисли обрывки низких осенних туч. За границей сада тучи вплотную примыкают к земле, скрывая линию горизонта, но в саду светло, тепло и тихо. Мы с отцом бродим по нему, по колена утопая в мягкой листве. Ее так много, что кусты крыжовника скрыты под нею, как под одеялом, но я знаю, где они, эти кусты. Я разгребаю листву и собираю ягоды с колючих веток. Огромные, перезревшие, необыкновенно, сказочно вкусные ягоды.

А еще листва прячет яблоки. Они лежат в слоях опавшей листвы, не касаясь земли. Крепкие холодные яблоки.

Мне хорошо и немного грустно. Все – низкие тучи и тепло земли, прохлада яблок и сладость крыжовника – переполнено чувствами. Какими?.. Я не понимаю их и не пытаюсь понять. Я просто счастлив, что ощущаю их, я готов обнять всю землю и слушать весь мир.

А солнца нет. Есть отец. Молчаливый, среднего роста мужчина, идущий рядом. И мне кажется, что тепло и свет – от него. Он излучает их для меня, оставаясь где-то в тени, не выражая ни одобрения, ни порицания, и лишь изредка протягивая мне крепкие холодные яблоки.

Приснись же, старый, как добрая сказка, сон! Ты все реже и реже посещаешь меня, и вместо твоей гармонии приходят кошмары.

Приснись мне, отец. Протяни яблоко.

И успокой перед вечным свиданием...

\* \* \*

Мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен.

Это так. Но – для чего? Чтобы вступить в бой или попросить пощады? Сорвать цветок для любимой или помочиться в родник? Заслонить собою друга или потискать девку?

Цель, ради которой мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен, определяется отцами. Мать дарит нас силой и здоровьем для этой отцовской цели, если мы – плод любви, а не насилия, яростной страсти, а не потливой похоти. На этой взаимосвязи любви и долга доселе держится мир.

И не так уж важно, кто твой отец. Важно, чтобы цель, поставленная, внушенная, вложенная им, была выше тебя самого. Чтобы ты тянулся к ней, а не изгибался перед нею: взгляд вверх формирует гордость духа, тогда как поклоны рожают лакеев. Цель должна возвышать, делать тебя уверенным в себе, в своих возможностях и своем достоинстве. И если все это у тебя есть, а отец твой был горбат, крив, хром и немощен – всегда рассказывай о нем одну святую правду: он был могуч и прекрасен; и этим ты исполнишь долг свой. Мы обязаны говорить об умерших лучше, чем они были на самом деле. Это нравственно, и это учит нравственности, как учит высокой нравственности история родной страны, состоящая из огромного количества жизней и еще большего количества смертей.

В китайской философии есть понятие Инь и Янь. ИНЬ – женское начало, ЯНЬ – мужское. Инь – природа: начало темное и непредсказуемое. Янь – духовность: начало светлое и творческое.

Так считали древние китайцы, пытаясь с помощью этой философии выбраться из естественного плена женского начала.

Мне не представляется это Законом. Скорее наоборот: это – спекулятивная философия. То есть философия, подразумевающая конкретные выводы, нужные ради данного времени.

Я часто думаю о том, чем занималась Ева, когда Адам бегал по лесам с дубиной в руках. Подумаем вместе, припомнив, что человеческий детеныш – единственный из детенышей млекопитающих, который в первые пять-семь лет после рождения беспомощен и нежизнеспособен. Он явно *не рассчитан* на земные условия существования. Зачем же понадобилась Природе такая обуза? Откуда и когда появилось это исключение из общих Правил самой Природы? Где, как и по какой причине род человеческий был заведомо поставлен в *неравные* условия со всем прочим животным миром? С какой целью и ради чего?

И – еще одна загадка. Темечко человеческого детеныша зарастает существенно позже рождения ребенка. Почему черепная броня, призванная защищать самое главное хранилище человеческой жизни, столь долгое время имеет дыру? С какой целью многомудрая Природа оставила этот – единственный! – пролом в человеческой крепости? Какую информацию мы

получаем через свое незарастающее темечко? Может быть, самую главную: сколько нам отпущено жизни каждому?..

А суммировав все это, я преклоняюсь пред Евой, потому что ей досталось не просто кормить детенышей своих, но и защищать их – с дыркой на темечке! – растить их и воспитывать, пока отец бегал в поисках хлеба насущного.

Все матери-животные воспитывают своих детей. Однако мы, люди, понимаем под воспитанием отнюдь не только способы добывания корма и защиты собственной жизни. Человек – животное стадное, он может выжить только в стаде, под его опекой и защитой. А это означает, что навыки жизни в стаде, где существует строгая иерархия и строгий порядок (то есть зачатки общественного поведения, истоки морали нашей), обязана была вложить в него мать. И – вкладывала.

Но это была даже не половина необходимых для ребенка условий стадного существования. Он по-прежнему оставался лишенным средств защиты, а человек – животное отнюдь не травоядное. Он с удовольствием съест и тот кусок мяса, который пока еще копошится в пещере под его ногами. Мать должна была любыми средствами добиться, чтобы голодный мужчина не слопал бы ее малыша, когда вернется с недельной неудачной охоты.

Сама она не смогла бы защитить своего ребенка – и потому, что была слабее, и потому, что не в силах была уследить. Ни за детенышем, ни за его возможным папашей, дядей или дедом. Никакой запрет в виде закона, общего для всех членов первичного сообщества, здесь помочь не мог, потому что некому было приглядывать за его исполнением. Здесь мог помочь только запрет без объяснений, запрет как таковой. То есть *табу*, исполнение которого было бы возложено на высшие силы, способные углядеть нарушение запрета и вовремя предотвратить его. То есть только вера в чудодейственную силу богов.

Но ведь мораль – свод правил поведения личности в обществе: никого не раздражать, соблюдать определенные ритуалы, чтить старших и т. п. Этот Свод Правил стадных животных и есть основа человеческой культуры. Свод Правил поведения при соблюдении твоих личных прав. Основа любой культуры и есть комплекс прав и обязанностей человека и общества, а совсем не образование и уж, тем паче, не искусство. И этому издревле, с седых времен учила Женщина. Она же хранила и мир в семье, танцуя и распевая колыбельные, утешая обиженных, примиряя непримиримых. Иными словами, она же и породила искусство как явление чисто человеческое.

КУЛЬТУРА – в ее абсолютном понимании, то есть понимании законов существования в обществе – женского рода. ИСКУССТВО – тоже. Их породила ЖЕНЩИНА.

А чем занимался мужчина, вернувшись с охоты? А он старательно усовершенствовал орудия этой охоты, поскольку именно от совершенства орудия напрямую зависело добывание пищи. Он, условно говоря, бесконечно полировал свою дубину. Именно это занятие и породило второе направление прогресса человечества – цивилизацию. ЦИВИЛИЗАЦИЯ – явление мужского рода.

Это разделение прогресса продолжается и поныне. И сегодня – естественно, в изменившемся виде – мужчины развивают прежде всего цивилизацию, тогда как высшей судией в культуре по-прежнему остается женщина. В этом и заключается принцип разделения труда меж мужчиной и женщиной, который обеспечил невероятный прогресс человечества.

Все эти рассуждения не мешают, однако, существовать предпосылке древнего китайского учения о мужском и женском началах в каждом человеке. Проще всего попытаться это рассмотреть на примере собственной и довольно длинной жизни, что я себе и позволю. Излагать свои соображения последовательно – и скучно, и не очень верно, поэтому, прошу прощения, но я буду рассказывать о них вперемешку, а чтобы никто не запутался, стану предварять такие куски названиями «Янь» и «Инь».

Глубокомысленный вопрос: «С чего начинается Родина?» подразумевает простейший ответ: с уважения к истории своего народа вообще и к своим родителям в частности. Нет людей более древнего и менее древнего рода: наши пращуры одновременно прыгнули с деревьев, но разница в том, что подавляющее большинство не только не знает, но и не желает знать, кто были их деды и прадеды, как они жили и за что умерли. Вероятно, такое стойкое нежелание знать свое происхождение свойственно амебам: мама разделилась пополам, и все в порядке. Но если амебам просто ни к чему нравственность, то амебоподобным она становится непонятной. А то, что непонятно, начинают упрощать, и на свет рождается лошадиная модель, в которой все достоинства вынесены в экстерьер, дабы сразу бросались в глаза, а понятие Духа осмысливается как запас дыхания в гонке за лидером. «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости», – говорил Пушкин, и если бы не стояло за ним семивековое, эстафетой передаваемое «Уважение к минувшему», имя первейшего русского гения было бы другим. Дикость не способна отдавать: ее удел – потребление. Вот почему я остановился на вопросе «КТО?». И хотя я склоняю голову перед всеми матерями на свете, я все же начну с отца. И потому, что такова традиция, и потому, что я – отцовский сын (бывают и материнские сыновья, это – игра случая, генетический пасьянс), и потому, наконец, что его нравственное начало оказалось более благотворным. Во всяком случае – для меня.

Итак —

## ЯНЬ

Ни отец, ни мама никогда мне ничего не рассказывали о себе. Ни о своем детстве, ни о своей молодости. Они исходили из главного принципа того времени, когда я был ребенком: чем меньше я буду знать о прошлом, тем спокойнее будет моя жизнь. Зато бабушка и моя тетя Таня кое во что меня посвящали, и я – запомнил.

Я знал, что мой отец – офицер царской армии, закончивший курсы прапорщиков где-то в самом начале 1915 года и – уже на фронте – дослужившийся до поручика. Знал, что его отец умер вскоре после его рождения, оставив четверых детей: двух сыновей и двух дочерей. Старший сын традиционно готовился к военной службе, моему же отцу был предоставлен выбор. Закончив городское училище, он возмечтал было об университете, но мечта эта так мечтою и осталась, поскольку не была подкреплена соответствующей экономической базой. Впоследствии отец жалел, что не рискнул тогда учиться на собственный заработок (уроки, переписка и тому подобное), но в то время он еще болел крапивницей сословных предрассудков. Дескать, мы бедные, но гордые, и прочая ахинея, вбитая в юные головы и искалечившая немало судеб. Потом-то он от нее излечился, поскольку окопная грязь, вши и немецкая артиллерия действовали на дворянские недуги куда интенсивнее пресловутых заграничных вод. Но тогда, за четыре года до начала предписанного Историей курса лечения, батюшка подался в школу прапорщиков.

Отцу суждено было прожить на свете 76 лет и два месяца: в отличие от большинства сверстников ему повезло. Каскад из трех войн унес из России такое количество душ, что их вполне хватило бы для освоения небольшой планеты в соседней Галактике, а ведь кроме войн были и мирные периоды, во время которых с душами обращались избирательно, следуя правилу: «Пуля дура, да расстрел молодец». Целеустремленное проведение в жизнь второй половины этого правила во дни мира, а первой – в дни войны практически ликвидировало последние остатки русского потомственного офицерства, и после заключительного каскада – Великой Отечественной войны – отец представлялся мне экспонатом Красной книги с горестной пометкой: «Встречаются отдельные экземпляры».

То, что отец уцелел, несмотря на немыслимое количество обрушенного на него во всех трех войнах металла, удивительно, но не парадоксально. Парадокс в том, что начав самостоя-

тельную жизнь со спесивого нежелания самому зарабатывать на обучение, батюшка к концу ее знал столько ремесел, сколько мало кто знает. Он мог срубить дом и сложить печь, починить телевизор и сапоги, исполнить любую столярную работу, капитально отремонтировать автомашину, подковать лошадь, переплести книгу... Нет, я не в состоянии перечислить всего, что он умел делать, потому что он умел делать все. И делал все и для всех, ибо не обладал удобной способностью отказывать кому бы то ни было в просьбе, старомодно полагая такой поступок неприличным. В 1969 году – через год после его смерти – мы с сестрой вздумали почистить печь на отцовской даче. Домик – крохотный, в 18 квадратных метров – был выстроен отцом от фундамента до конька, а печь – чудо-печь, нагревавшая дом считанными поленьями! – сложена его руками. Мы ухлопали на эту операцию весь день, разворотили полтрубы, но печь упорно продолжала дымить.

– Молодцы мы с тобой, – сказала сестра, в бессчетный раз присев передохнуть перед новым отчаянным штурмом непокорного устройства. – Отец ее один сложил, а мы вдвоем вычистить не можем.

– Так то – отец, – вздохнул я.

Теперь-то я понимаю, в чем дело: нам сопротивлялась сама печь. Когда умер отец, она начала дымить, дом – скрипеть, неожиданно перекошился стол во дворе и сам собою обрушился колодец. Созданные мастером изделия не хотели жить без него, потому что он вкладывал в них свою душу.

У меня сохранилось очень мало фотографий отца, а относящихся к Первой мировой и Гражданской войнам нет вообще. История их исчезновения могла бы послужить сюжетом, отображающим не только время, но и сопутствующие ему страхи. Это очень любопытная тема: исследование взаимодействия и взаимовлияния страхов и времени, но она вполне самостоятельна, а посему пока отложим ее. И примем как данность, что из всех фотографий времен отцовской молодости чудом уцелело две в семейном альбоме его сестры Марии Александровны Денищик, женщины самостоятельной и отважной. Но даже ее отвага не смогла сохранить фотографий поручика-брата, уклончиво оставив его для памяти в гражданском костюме, правда, такого качества, которое в тридцатые годы тянуло на добрых десять лет общего режима.

На этой фотографии («Собственное дело Горбачева Н.М. Смоленск, Кадетская № 17») батюшка на фоне расплывчатых руин застенчиво попирает локтем утес из папье-маше. Добрые глаза его смотрят с невероятным молодым напряжением, а роскошные, любовно ухоженные усы просто обязаны заверить нас в его неотразимой мужественности. Разглядывая этот снимок, я пытаюсь отвлечься от осознания, что на нем запечатлен мой отец. Я пытаюсь увидеть молодого человека времен заката царской России, не крестьянина и не торговца, не социалиста и не монархиста, не слишком образованного, не слишком терзаемого совестью, не слишком размышляющего над судьбами Отечества. То есть абсолютно нормального, здорового двадцатилетнего молодого человека из провинции. Он кое-как и кое-что болтает по-французски, играет для дам на гитаре, а для себя – на мандолине, поет цыганско-гусарский репертуар, развлекает декламацией модных стихов, а развлекается за карточным столом. «Общество» для него – арбитр элантиерум, мода – символ веры, вечера, балы, пикники и карнавалы – апофеоз существования. Дыра в башмаке равносильна катастрофе и уж безусловно страшнее дыр в семейном бюджете. А там их в избытке, и провинциальный юнкер, не подозревающий, что кончит он свое земное существование коммунистом, вертится волчком, чтобы удержаться на скользком паркете губернского города Смоленска.

Таково содержание первой фотографии. На второй отец изображен на фоне тех же руин, но рядом стоит очень изящная молодая дама. Это – моя будущая матушка, а посему разглядывание второго семейного снимка отложим до соответствующего места. Все хорошо в свое время, а особенно – фантазии на семейные темы.

Я люблю рассматривать старинные фотографии. Люблю толстый картон, который не сворачивается в трубочку, подобно пересохшему сыру. Люблю неторопливую, обладающую глубоким смыслом ретушь. Люблю серьезность – серьезность мастера, который никуда не спешит, наводя на фокус, и серьезность объектов его мастерства, которые встали перед объективом не потому, что случайно проходили мимо. Люблю детскую наивность рисованных замков, утесов и пальм. Люблю, наконец, полновесность серебра, до сей поры хранящего изображения. Серебро не просто благородный, а единственно благородный металл, ибо только оно обладает человеколюбием, убивая болезнетворных микробов и увековечивая людей. Цвет серебра изящен и аристократичен: недаром мы сравниваем с ним седину, достойную почитания. Серебро воспитанно и художаво в отличие от крикливого и жирного золота, залившего весь мир кровью и ничего так и не давшего человечеству взамен. Золото оскорбительно своей демонстративностью: лишенное скромности и внутреннего такта, оно способно лишь вопить о кошельке владельца. Рот, набитый золотом, с детства воспринимается мною как пасть скоробогатя. Да, да, того самого буржуя, презрение к которому было привилегией нашего голодного, разутого и раздетого Отечества, единственной, но до чего же гордой привилегией!

Серебро исчезает: тот, кто работает на человека, всегда сжигает себя. А вот количество золота в мире неуклонно растет, но люди не становятся богаче от того, что оно растет. Когда человечество уразумеет наконец эту простую истину, оно шагнет вперед сразу на два порядка. Однажды мы пытались доказать это миру, но то ли мир не понял нас, то ли мы мир не поняли, то ли доказательства были не слишком доходчивыми, а только набитые золотом пасти по-прежнему зевают мне в лицо из-за каждого прилавка. И я горжусь тем, что на старой фотографии отца нет никакого золота. Есть только благородное серебро, сохранившее для меня его дорогой облик.

Я видел, как этот сохраненный серебром облик сгорал в пламени печурки в старом смоленском доме на Покровке. Моем первом доме земного бытия. Доме, где я учился узнавать своих родных, ползать и говорить первые слова. Это был лучший Дом на земле, поверьте, я уже старше собственного отца и успел сменить множество домов. Там жила не только сама Гармония, но и ручная белая крыса без хвоста, аккуратность которой за столом – мы с ней вместе завтракали, обедали и ужинали – мама всегда ставила мне в пример.

Так вот в этом замечательном доме было то ли холодно, то ли я простудился, а только ночью я проснулся от озноба и увидел, как в раскаленном жерле печурки сгорают толстые дореволюционные паспарту, унося вместе с дымом облики запечатленных на их серебре людей. И я не удивился, я, как мне кажется сегодня, понял, что есть времена сжигания своего прошлого.

Через год после посещения «Собственного дела Горбачева» облик батюшки резко изменился: он надел военную форму, которую не снимал до своей кончины. Она словно приросла к нему, стала второй кожей, частью его существа и смыслом его существования. Судьба чуть было не напутала: солдатом родился отец, а не его старший брат Павел. Подчеркиваю: *родился*, ибо до тех пор, пока человечеству свойственно нападать и обороняться, оно будет поставлять солдат для самого себя, не полагаясь на волю случая, а программируя это традициями, обычаями, престижностью и девичьими вздохами о душках-военных. Мы застали еще – правда, уже на излете – те времена, когда служба Отечеству была столь же естественна, как забота о собственном достоинстве, и шпага считалась естественным продолжением руки. Но и при этом случались казусы, шпага оказывалась при младшем сыне, а не при старшем, как того требовал обычай. Так произошло с моим отцом, но история исправила ошибку: за десять лет до моего рождения новоиспеченный пехотный прапорщик отправился в окопы Первой мировой, успев, к счастью, жениться между выпускным парадом и погрузкой в эшелон.

Я убежден, что каждой человеческой душе нужна своя, единственная, ей присущая форма проявления, если рассматривать душу не как мистический символ, а как философское понятие, как ДУХ. Борения этого духа и есть поиски *своей* формы существования, но боль-



шинство так и не находит ее и, следовательно, жизнь их не просто дисгармонична, не только судорожно перенапряжена, но и может считаться несостоявшейся, ибо их дух не нашел возможности выразить себя. Талант – я имею в виду его проявление, то есть действие, а не термин – и есть соответствие формы и содержания, а Ойстрах он при этом, заботливая мать или безымянный таксист, получающий наслаждение не от суммы чаевых, а от собственной реакции, ловкости и расчета, это уже не существенно. Мой отец, к примеру, воспринял военную форму как форму своего духа, и был прав, и был счастлив, ибо не знал ни зависти, ни неудовлетворенных желаний. Я особо подчеркиваю важность соответствия духа и формы его выражения, так как дух просыпается незаметно, и воспитатели детских душ должны быть чрезвычайно внимательны, добры и бдительны. Тенденция силой запихивать душу ребенка в приятную, доступную, понятную или просто престижную форму приводит к внутренней трагедии во всех случаях без исключения. Проявление этой трагедии может быть различным – дерзость, грубость, открытая конфронтация со всем и со всеми, тартюфовское смирение или уголовное, деяние – но причина одна: покушение на детскую душу.

К великому моему счастью, батюшка мой обрел единство формы и содержания быстро, без особых терзаний и задолго – за десять лет! – до моего рождения. Таким образом, одно из слагаемых было заведомо гармоничным, но человек есть сумма двух слагаемых и разность двух векторов.

## Глава вторая

### ИНЬ

Моя матушка Елена Николаевна, урожденная Алексеева, родилась в том же, 1892 году, что и отец, но на четыре месяца позже – в июле. История юности ее отца и многочисленных дядюшек и тетюшек рассказана в романе «Были и небыли», где ее батюшка (мой, стало быть, дед) выведен под именем Ивана Ивановича Олексина. Я изменил фамилию реальных людей на созвучный псевдоним литературных героев только ради свободы романного маневра, поскольку мои предки по материнской линии оказались связанными с Пушкиным, Толстым и общественным движением XIX века, что могло вызвать множество уточняющих вопросов историков. Правда, все мои консультанты легко и просто в этом разбирались, лишь порою сердито спрашивая, откуда мне известна биография братьев Алексеевых. Но выяснив, откуда, переставали задавать вопросы.

Алексеевы принадлежали к старинному дворянскому роду, известному в землях Псковских. Я рассказал об их следе в Золотом веке нашей литературы, написав, условно говоря, «Сагу об Алексеевых».

Но вернемся в день вчерашний.

История далекого предка не сохранилась в семейных преданиях, уйдя, по всей вероятности, в другие линии Алексеевского рода. А вот историю своего дяди Василия Ивановича Алексеева – его американский эксперимент и дружбу со Львом Николаевичем Толстым – матушка все же мне рассказала, так как очень этим гордилась. По ее словам, ее отец Иван Иванович Алексеев активно участвовал вместе с братом Василием в кружке Чайковцев, строил коммуну в американском штате Канзас по методу Фурье и был близко знаком с Л.Н.Толстым. В романе «Были и небыли» я сделал его младше, передав многое брату Федору. Василий Иванович, как известно, не только стал первым толстовцем, истово уверовав в учение своего гениального друга, но и спас от забвения и уничтожения его «Евангелие», переписав рукопись Льва Николаевича за одну ночь перед ее отправкой в Синод. Метаморфоза, произошедшая с атеистом и прогрессистом, была исключительна даже для того времени, и, по словам матушки, Василий Иванович объяснял это кардинальное изменение своих взглядов одним разговором со Львом Николаевичем. Из первого издания романа эта сцена выскочила, почему я и решил восстановить ее в этом тексте.

Итак, однажды – не хочу указывать год, это не так уж существенно – Л.Н.Толстой и В.И.Алексеев пошли прогуляться в Засеку. И возник разговор...

\* \* \*

– ...К мысли человек приходит различными путями размышлений. И мысли бывают ошибочными, а размышления – нет, даже если и отбрасывают их потом. Так что то, что вам, Василий Иванович, сейчас поведаю, возможно, сам же впоследствии и отрину, ибо ничего не утверждаю, а лишь пытаюсь рассуждать. О человеке. Нет, даже, пожалуй, о человечестве, о людях. Среди них вы и двоих одинаковых не сыщите не только в числе сущих, но и во все времена от Адама и Евы. Все – разные, все – неповторимые, а все же если в сумме брать, то сумма эта из двух частей состоять будет. Всех людей по складу их душевному, по нравственной сущности на две категории разделить можно. На хозяев и на камердинеров. Поймите, не по имуществу делу, а по отношению к жизни делу на хозяев этой жизни и камердинеров этой же жизни.

И ни собственность, ни сословия, ни образование здесь ни при чем: что, лакеев в камергерских мундирах не встречали? Встречали. И хозяев в армяках – тоже встречали, ибо критерий один: нравственность. Начнем рассуждать, если угодно. Хозяин воспринимает труд как нечто естественное, само собою разумеющееся, как закон бытия. А камердинер в то же время естественным полагает ничегонеделание. Труд для него – каторга, подневолье, насилие над собою, угнетение свободы его. Далее пойдем. Хозяин никогда не солжет, даже если кара ему грозит, ибо истина, спокойствие совести своей ему дороже жизни. Разве не так? А камердинер не просто солжет, но даже и с удовольствием, ибо обманывая, он тем самым себя утверждает. И радуется, коли лжи его поверили, торжествует даже. Затем. Хозяин жизни своей воспринимает чужое мнение всегда критически, всегда сомнению его подвергая, ибо свое собственное мнение имеет. А камердинер? Как приказ он чужое мнение воспринимает, без всяких рассуждений, ибо своего не имеет. Не способен он собственного мнения выработать, а посему и живет чужими мыслями. Так ему и проще, и удобнее. Продолжим. Хозяин не стремится к удобствам, чинам и званиям, даже к удовольствию не стремится, находя удовольствие в своей деятельности, в труде и довольствуясь малым. А для камердинера удобства, наслаждения, карьера – весь смысл существования, цель заветная, ради которой, по его понятиям, и льстить дозволено, и обманывать, и лгать, и выпрашивать, и с чужим мнением тотчас же соглашаться. А главное в том, что хозяин властолюбия лишен. Не рвется он к должностям, а тем паче – к власти, ибо не нужно ему ни людское унижение, ни собственное возвеличивание. А камердинер? Всегда он к власти рвется, по трупам к ней пойдет, потому что жаждет собственного возвеличивания, аки воды в пустыне. Согласен, нет в чистом виде ни тех, ни других, но ведь тенденция есть. Есть тенденция к разделению человечества на две неравных половины. Откуда? Говорите, классовость, имущественное неравенство. А давайте представим, что нет более ничего этого. Представим общество, основанное на равенстве имущества, равенстве прав и равенстве возможностей – что же, изменится род людской? У нас, в России, в привилегированном обществе, где все возможности и все права, камердинеров-то ничуть не меньше, чем среди мужиков, а может, и побольше. Ведь суть не в отсутствии возможностей, а в отсутствии потребностей превратить эти возможности в жизнь. Ваше ли бесклассовое общество возьмем, мое ли уравненное – они же на земле стоят, не в воздухе витают. Значит, непременно будут руководители и руководимые, начальники и подчиненные, законодатели и исполнители – то есть будет питательная среда для произрастания все тех же хозяев и камердинеров. И не может быть иначе, даже теоретически не может, поскольку блага-то земные распределять приходится.

– Ваше рассуждение ложно, Лев Николаевич, – сказал Василий Иванович. – Человек станет принципиально другим в принципиально другом обществе. Он станет свободным.

– И в чем же он будет свободным?

– Решительно во всем. В труде, в месте жительства, в выборе профессии, в получении образования. Ему будет гарантирована свобода личности, собраний, манифестаций, вероисповедания, печати...

– Сколько ни перечисляйте, количество в качество не перейдет. Вы же ратуете за свободу внешнюю, а внешняя свобода есть лишь удовлетворение желаний. Желая стать ученым – стал, желаю обругать министра в печати – обругал, желаю иметь вид на жительство в Санкт-Петербурге – получил. Как в мелочной лавочке: спросил фунт чаю – отвесили, спросил кардамону – пожалуйста. Что-то в этакой свободе есть потребительское: не пугает? Ведь основа ее – удовлетворение желаний. Желание труда полегче да посподручнее, желание учиться, желание жить где хочу.

– Не желаний, а требований личности.

– Хорошо, пусть требований, все едино. Ведь что требование, что желание, что хотение границ не имеют. Бесконечны они и неуправляемы, а значит, и удовлетворить их никак невозможно. Немыслимо удовлетворить то, что конца не имеет, а раз так, то непременно

появятся недовольные и недовольство. И недовольные будут добиваться, бороться, изворачиваться, чтобы свои возросшие требования удовлетворить. Ваша свобода, Василий Иванович, не в состоянии обеспечить согласия в обществе изначально. Она в самой своей сущности предполагает борьбу, драчку за еще большую свободу, за удовлетворение растущих, как грибы, желаний. А борьба порождает победителей и побежденных, всплывших наверх и канувших в пучину: в ней самой заложено неравенство. Внешняя свобода – это всегда свобода неравенства, только свобода внутренняя дает человеку полную свободу. Внутренне свободный человек свободен всегда. И в кандалах, и на плахе свободен, ибо свобода – с ним, а не вне его, и отнять ее невозможно. Никакой деспот, никакой правитель не свободны, поскольку зависимы и от гвардии своей, и от политики, и от иных держав. А пустынный, презревший блага мира сего, свободен в пещере своей. Еретики всегда свободны, а верующие – нет. Неистовый Аввакум был свободен и в срубе своем, а патриарх Никон и во дворце рабом остался, вот какой казус в истории есть. А что, если поразмышлять, что же человеку стать внутренне свободным мешает, стать хозяином жизни своей, а не лакеем ее? Первое: разлад меж стремлениями личности и общества, между «Я» и «МЫ». Преодолим этот разлад? Преодолим, коли гневаться друг на друга не будем, ибо разлад этот – в тебе самом, а не вовне тебя. Значит, во-первых, сдерживай себя всегда, не гнеvisь, не обижай других. Второе: стремление к потребностям тела без потребностей души, приступы чувственности, не освященные сродством душ, есть проявление животное. А ведь только это сродство душ и есть любовь, и лишь оно освящает союз мужчины и женщины. Значит, нельзя, невозможно свободным стать, покуда поддаешься велениям тела вопреки душе своей. То есть не прелюбодействуй. Как же можно достичь внутренней свободы, когда еще не отмерло стремление удержать свое, добиться большего, обмануть. Нет, ты сначала научись никого не обманывать даже во спасение свое, а для этого и не клянись никогда, дабы себя во искушение не ввести. Не клянись – вот вам и третье условие внутренней свободы твоей. И, наконец, спор свят, когда он – внутри тебя. А когда вовне спорят, с другими, когда во что бы то ни стало свою мысль утвердить желают – принуждение рождается, а значит, зло. И всякая борьба, за рамки проповеди выходящая, творит это зло, множит его и тем самым сеет вокруг себя несвободу. Не-свободу, ибо победа духа над духом не может родить свободы. Свободу рождает только согласие душ, а не их подчинение. Значит, надобно бежать споров, на душу твою посягающих, помня, что даже если и победишь ты в споре, то свободы этим не добьешься: коли другого принудил, то и сам несвободен. Не противься злему, никогда не противься, вот какова заповедь Христова. Самая мудрая из всех заповедей Его: не умножай зла сопротивлением. Оно само отомрет, само исчезнет, ибо питается оно твоим «нет», твоим «не хочу», твоим «не стерплю». А надобно стерпеть. Все стерпеть. Знаю, трудно постичь сие, еще труднее – уверовать, и уж совсем трудов многих стоит поступать по заповеди этой. Конечно, куда проще ружья взять да и пострелять несогласных, а постреляв, свободу живым объявить. Только горьки плоды свободы, взятой оружием. Чьи-то слезы на ней, а свобода со слезами – не свобода. Вот когда поймем это, когда уразумеем мудрость Христову, тогда и кончится разлад в душах человеческих, тогда восторжествует внутренняя свобода человека и забудет он страх и неприязнь, обман и подлость, зло и преступления, и станет хозяином жизни своей, а не лакеем ее. Вот в чем учение Христово...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.